



*К 90-летию Герольда Бельгера*

**Герольд БЕЛЬГЕР**

## **О, КАЗАХИ МОИ!..**

### **СКАЗ О СЕМИЖИЛЬНЫХ КАЗАХАХ**

Далекое... далекое... За шестью перевалами, за семью холмами. Вспомнишь – не поверишь. Сидели мы, компаньоны по стариковским прогулкам, возле наших домов, на скамеечке в пышном садике, и вспоминали далекое аульное детство. Мы – выходцы из разных уголков необъятной Казахии, а впечатления схожие, будто росли в одном ауле. Разница разве что в природной обстановке, да, пожалуй, в еде. В остальном – общие

мотивы, полное созвучие, эхо мелькнувшего бытия. Прошло, между прочим, более семидесяти лет. Всё изменилось. Другая жизнь, другие люди, другие песни и нравы. Замечено казахами: за пятьдесят лет обновляется земля. Считайте: страна, народ, жизнь. То, что называют словом «Эль». А тут более семи десятков лет.

...В казахский аул на правом берегу Есиля наша семья прибыла по державной воле – абсолютно точно – 17 октября 1941 года. С Волги. Из Республики немцев Поволжья. Была такая. Привезли сначала в товарняке, потом – на грузовике, затем – на волах, будто с другой планеты, ухоженной, облагороженной, с крепким бытом, с порядками-нравами, заповеданными германскими предками.

О том, как я воспринял казахский аул, какими глазами его увидел, с какой гордостью и благодарностью я его всю жизнь вспоминаю, я многожды подробно и обстоятельно писал в своих произведениях.

Дополню же мои опусы лишь отдельными бытовыми деталями-штрихами, полагая, что нынешнее поколение обо всём мало что знает.

Я был изнеженным, чистеньким, немного избалованным вниманием многочисленной немецкой родни мальчиком. Модно подстриженным, бледным, тощим. И одет был по-городскому: отглаженная рубашка, курточка, штанишки с ляжками, сандалии, носочки, кепочка, иногда шик-матроска. У сверстников-аулчан, понятно, такого прикида и в помине не было. Они мотались день-деньской по аулу, по оврагам-саям, по колкам, по тугаю, чумазыми, немытыми, босоногими, заляпанными айраном-шалапом, бритоголовыми, в латаных, нелепых штанах-дамбалах, подпоясанных волосяной бечевкой, сплошь в синяках и струпьях, обветренными, прокаленными степным солнцем. Я был пришелец, печальный, растерянный, робкий «немыс бала». А мои будущие аульные тамыры были шумными, крикливыми, вольными забияками, играли в асыки, гоняли войлочный мяч, устраивали на пустырях «казахский курес», барахтались в пыли, резвились на траве, купались в водоемах-запрудах, озоровали, совершали набеги на навесы, где на циновках сушились комочки кислого творога-курта или сладкого иримчика. Я им завидовал. Вот житуха! Зубы чистить по утрам не надо, ноги мыть перед сном не надо, одежду-обувку беречь не надо. И вообще

ничего не надо. Ах, славно! Живи – не тужи. Я-то спал на черном сундуке, доставшемся в наследство от бабушки, на простынях, под суконным одеяльцем, на надувном матрасе, а они, наспех выпив чашу айрана, засыпали где попало, на кошме возле очага, их, уморенных сном, стаскивали дедушки и бабушки в уголок и накрывали громоздким овчинным тулупом.

Мне это казалось хорошо. А родители внушали: «Das ist schlecht... Unsinn...» – «Это плохо... худо... вздор!» Звали моих тамыров тоже не так, как в немецких дорфах на Волге – Аскер, Темеш, Мекеш, Сальтай, Салим, Коккоз, Галым, Акан, Бейсен, Ойрат... Я тянулся к ним. Не понимал: почему же «шлехт», если так радостно, весело? И меня они запросто приняли в свой круг. Звали: «Гера... Кера... Кера... Сары бала». Каким-то образом общались: жестом, мимикой, набором сильно искаженных русских и – с моей стороны – десятками двумя казахских слов. Питался я скудно, хотя родители изворачивались как могли. Мама за несколько месяцев обменяла все свои наряды на харчи. Колхоз подкармливал то торбой овса, ячменя, ржи, пшеницы, то выписывал из фермы котелок обрат.

Ну, а чем кормились мои тамыры-казашата? Буквально чем Бог послал: лепешкой, испеченной в золе, айраном-простоквашей, жаренной на бараньем сале пшеницей, толченым просом, сушеным сыром и творогом, изредка тортой – осадком от топленого масла, коже-баландой; по сезону – диким луком, щавелем, черемухой, бояркой, земляникой, корнем болотной куги. Набивали всякой всячиной вечно пустой курсак. И ничего: резвились, бегали, горланили песни, сквернословили, затевали драки, пасли ягнят, выгоняли на выпас коров, водили лошадей на водопой, чистили хлев, собирали кизяк, крутили ручные мельницы, тушили, как и чем могли, степной пал.

Дети войны, выносливые, неприятзательные, терпеливые, находчивые. Сказано: голь на выдумки хитра. И еще: бедняк разок наелся – уже богач. Я у своих аулчан исподволь учился искусству выживания. У отца забот полон рот: заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, обслуживает семь казахских аулов. Мама – санитарка медпункта и домохозяйка, на руках моя сестренка-малолетка. И я в немалой степени предоставлен самому себе, хотя вечерами был вынужден держать строгий отчет о содеянном за день. Конечно, моя аульная вольница отцу не очень нравилась. Он хотел, чтобы я читал, рисовал, тренировал на балалайке и мандолине, овладел цифровыми нотами, общался больше со старшими, помогал в хозяйстве маме. Он считал, что я должен, прямо-таки обязан во всём и везде являть собой пример для подражания. И к тому же я должен стараться бегать быстрее всех, прыгать дальше и выше всех и бороться сноровистее всех.

Нет, не всё получалось. Скорее, я попадал под влияние новой среды. Сверстникам моим, отчаянным шалопаям, всё сходило с рук. При всей очевидной антисанитарии никакие хвори их не касались. Ну разве что простуда, ушибы, занозы, кашель, чесотка, зуд, парша, вшивость. Но всё это не в счет. Эка невидаль! Простудился, сопливишь, кашляешь – попей горячего молока, завернись в старую шубу, укройся кошомкой, пропотей как следует, и вся недолга. Поранился – есть проверенные веками средства: посыпь рану березовой золой, приложи паленую кошму, замажь белой глиной, отсоси кровь, а лучше – помочишь на рану. Вот дезинфекция! Голова болит – обмотай туго платком или полотенцем, нахлобучь малахай-треух, попей чаю с мятой, отлежись за сундуком-ларем в закутке шошалы. Чесотка? Протирай густой болотной грязью, искупайся в запруде. Битюки одолели – разденься догола и прожарь над таганом-костром штаны-рубашку, чтобы аж треск по швам пошел. Коленки разбил до крови – обмотай лопухом. Живот болит – пользуйся полынным отваром. Глаза слезятся –

черным самодельным мылом промой крепко. «Синий кашель» напал – попей растопленный жир ежа или сурка. Что-то невзначай вывихнул – иди к знахарю-костоправу, смажет нутряным конским или курдючным бараньим салом, погладит, слюной побрызгает, молитву нашепчет, поставит на место и закрепит туго ременной тесемкой.

Словом, на любую хворь есть надлежащее снадобье. А со мной одна морока. Всякая зараза липнет-пристает: и простуда, и воспаление, и палочки Коха, и ушибы-царапины, и безгек-малярия, и клещи-кровососы, и чирьи, и всякие бяки.

И чем меня лечат? Зеленкой, йодом, аспирином, кальцексом, ихтиолкой, спиртом, мазями, банками, горчичниками, пластырями, тотальной борьбой со вшами, клопами, клещами, блохами. А эффект не тот. Не тот организм. Не та восприимчивость. Нет казахского иммунитета. Нет природной закалки.

Аульная пацанва повально ходила в школу. Война. Все обнищали до предела. Одежки-обувки нет, учебников-тетрадей нет, карандаш редкость, чернила делают из сажи, писали на полях старых газет, книг, обрывках, зимой отчаянно мерзли, «непроливайки» грели за пазухой. Классы малокомплектные. Второй и четвертый классы учились вместе, параллельно, у одной учительницы, вчерашней выпускницы школы. Нас, «грамотеев», всего шесть человек. Младшему восемь лет, старшему – четырнадцать.

А – посильно учились, старались. Наш аул отличался от других тем, что у нас была прекрасная школа – единственная казахская средняя в районе. И еще – интернат для круглых сирот. И то, что эти «балашки», сироты и полусироты, голодные, оборванные, заброшенные, задавленные нуждой, учились и упорно выбивались в люди, было, бесспорно, подвигом. Одолели все лишения, выдюжили, дерзнули и сумели стать достойными гражданами общества. Хвала стране, вселявшей в лихую годину надежду и веру! Ну, а что я скажу о взрослых? О, это великий сказ, описанный в многоязычных сагах! То, что трудились все от мала до велика на износ, – банальная констатация. Я видел это своими глазами, мотаясь со своими тамырами по аулу, по колхозным станам, по фермам, по токам-хирманам, по полям, по сенокосам, на уборке, на всех мероприятиях-сборищах, разъезжая с отцом по селам-аулам радиуса фельдшерско-акушерского пункта. Я посещал тои по радостным и горестным случаям, бывал на родинах-шильдеханах, на поминках-асах, на обрядах обрезания, имянаречения, айтах по окончанию уразы, слышал женский плач, детские проклятия, мольбы-обращения стариков ко Всевышнему, видел страдания и неутешную скорбь. Я сердцем вник во все эти испытания, посильно тоже что-то делал – собирал колосья, вместе с отцом – лечебные травы, ягоды, сушил и сортировал их, жил семейными и аульными заботами, пока не обезножел и не встал на костыли из-за tbs костей. Научился ничему не удивляться. Не сетовать понапрасну на судьбу, не злобствовать, не таить мелкую обиду. Завет отца: «Принимай людей такими, как они есть». Поражался терпению, покорности, порядочности, выносливости, стойкости, простодушию аульчан. И поныне диву даюсь: как можно было выдерживать умопомрачительные лишения военных и первых послевоенных лет.

Вспоминаются изможденные, изнуренные, отлученные от любви и ласки женщины. Они нам, пацанам, казались старухами, а ведь им было – как я теперь представляю – под тридцать или немногим за тридцать. Почти все вдовы, с малыми детьми, их бригадир, сидя на заезженной кляче, бесцеремонно будил чуть свет и, размахивая камчой-плеткой, скверно матерясь, гнал на работу – в поле, на стан, на ферму, и они, безропотные, голодные, невыспавшиеся, оставив спящих, некормленных детей, понуро брели туда, куда рукояткой камчи указывал бригадир-инвалид, рыча: «Давай, грязнуля! Давай, чумазая! Шевелись! Всё для фронта!» Хорошо еще, если соседка-старуха подоит корову, вскипятит

молоко, заквасит айран, присмотрит за детьми за долгий божий день, пока их матери в сумерках еле живыми возвращаются до дому.

Иные не выдерживали, надрывались, угасали, находя вечный покой и пристанище на погосте за аулом. По нашей улице, через два дома, скончалась заморенная казашка, которая зимой и летом ходила в одном замызганном донельзя платье из мешковины, в бесцветном, в заплатках, жакете, в заячьей шапке и стоптанных мужних кирзачах. Не женщина – тень, призрак, живой аруах. Остались сиротами трое мальчишек: старшему, Сайрану, было лет десять, братьям – восемь и семь лет. Через год после смерти матери развалилась халупа, тяп-ляп сложенная из дерна. Мальчишки за лето вырыли землянку-конуру, натаскали из тугая тал, укрепили плетень, помазали глиной вперемешку с сеном и кизяком, с помощью сердобольных стариков наложили поверх матицу, соорудили подслеповатое окошко, скрипучую хилую дверь и стали в этой норе жить на подаяния аулчан.

Позже Сайран умудрился прилично окончить школу, продал свое детское богатство – мешочек асыков, лук с колчаном, перочинный ножик, какие-то учебники, собрал по рублю, по трояку с аулчан, продал буренку, братьев устроил в интернат и подался в Алма-Ату, поступил в КазПИ им. Абая на физико-математический факультет. Но судьба не пощадила эту семью. На первом же курсе, на уборке хлопка в Пахта-Арале Сайран одним из первых заболел гепатитом и в тяжелом состоянии был отправлен назад.

Октябрьским утром, помню, он появился ко мне в общежитие и застыл у порога.

– Оу! – сказал я в шутку. – Почему вернулся?

Он всерьез ответил:

– Умирать...

– Не умирай, – продолжал я валять ваньку. – Посиди. Соображу завтрак.

И тут только я заметил, что он какой-то никакой, весь желтый, и в глазах плескалась муть.

Я решил его срочно накормить. Зачакилял на костылях в магазин за хлебом и сахаром. Когда вернулся, Сайран сидел за столом и тупо глядел в беспросветье. Я отправился к автомату за углом вызвать скорую.

Еле дождались. Сайрана сразу забрали в больницу, где на утро следующего дня он и скончался. Меня вызвали в деканат, стали расспрашивать, как быть.

Хоронили Сайрана земляки, выпускники нашей школы (их тогда в алма-атинских вузах училось – точно помню – аж 73 человека. Школа наша славилась). Обрел Сайран вечный покой в алма-атинской земле. А что стало с его братьями – не знаю. Они были моложе меня и, возможно, еще живы. Ныне даже узнавать не у кого. Подобных судеб несметное количество в казахских аулах военного и послевоенного лихолетья. Сказ о семижильных казахах нескончаем. Тема вечная, неизбежная. Дух такого народа неистребим. Схожую судьбу извели с лихвой и российские немцы, изгои-изгнанники с родных мест, обреченные было на тотальный мор. Но и они выдюжили, даже подранки кое-как очухались, несмотря на все мытарства, на черные, подлые козни вершителей человеческого рока.

Но это уже другой сказ. И о том я уже немало написал. И, возможно, напишу еще. Одиссея семижильных человек продолжается в веках. Наперекор большим и малым тиранам. Всевышний любит испытывать людей на прочность и верность, дабы они не забывали о нём. Может, в том и заключен мудрый смысл бытия...

Июль 2014